



П. Н. МИЛЮКОВ

История второй русской революции

<Фрагменты>

I. Корни второй революции

С чего начинать историю второй революции? Тот, кто будет писать философию русской революции, должен будет, конечно, искать ее корни глубоко в прошлом, в истории русской культуры. Ибо, при всем ультрамодерном содержании выставленных в этой революции программ, этикеток и лозунгов, действительность русской революции вскрыла ее тесную и неразрывную связь со всем русским прошлым. Как могучий геологический переворот шутя сбрасывает тонкий покров позднейших культурных наслоений и выносит на поверхность давно покрытые ими пласты, напоминающие о седой старине, о давно минувших эпохах истории земли, так русская революция обнажила перед нами всю нашу историческую структуру, лишь слабо прикрытую поверхностным слоем недавних культурных приобретений. Изучение русской истории приобретает в наши дни новый своеобразный интерес, ибо по социальным и культурным пластам, оказавшимся на поверхности русского переворота, внимательный наблюдатель может наглядно проследить историю нашего прошлого. То, что поражает в современных событиях постороннего зрителя, что впервые является для него разгадкой векового молчания «сфинкса», русского народа, то давно было известно социологу и исследователю русской исторической эволюции. Ленин и Троцкий для него возглавляют движение, гораздо более близкое к Пугачеву, к Разину, к Болотникову — к 18-му и 17-му векам нашей истории, — чем к последним словам европейского анархо-синдикализма.

В самом деле, основная черта, проявленная нашим революционным процессом, составляющая и основную причину его печального исхода, есть слабость русской государственности и преобладание в стране безгосударственных и анархических элементов. Но разве не является эта черта неизбежным последствием

такого хода исторического процесса, в котором пришедшая извне государственность постоянно, при Рюрике, как и при Петре Великом, как и в нашем «империализме» XIX и XX века, — опережала внутренний органический рост государственности? А другая характерная черта, — слабость верхних социальных слоев, так легко уступивших место, а потом и отброшенных в сторону народным потоком? Разве не вытекает эта слабость из всей истории нашего «первенствующего сословия», созданного властью для государственных нужд, как это практиковалось в деспотиях Востока, и сохранившего до самого последнего момента черты старого «служилого» класса? Разве не связан с этим прошлым, перешедшим в настоящее, и традиционный взгляд русского крестьянства на землю, сохранившую в самом названии «помещичьей» память о своем историческом предназначении? А полное почти отсутствие «буржуазии» в истинном смысле этого слова, ее политическое бессилие, при всем широком применении революционной клички «буржуй» ко всякому, кто носит крахмальный воротничок и ходит в котелке? Не напоминает ли оно нам о глубокой разнице в истории всей борьбы за политическую свободу между нами и европейским Западом, о громадном хронологическом расстоянии между началом этой борьбы там и у нас, о неизбежном последствии этой разницы, — о слиянии у нас политического переворота с социальным, а в социальном перевороте — о смешении борьбы против непрочно сложившегося и быстро разрушившегося крепостничества с борьбой против совсем не успевшего сложиться «капитализма»? Читайте историю французской революции Тэна, — и вы увидите, как до мелочей повторяется с употреблением лозунга «буржуазии» в нашей революции все то, что в гражданской войне великой революции применялось к «дворянству». Переменен у нас, конечно, только лозунг; содержание гражданской войны осталось то же. Да и как могло быть иначе, когда и развитие русской промышленности, и развитие городов явилось, в сколько-нибудь серьезных размерах, плодом последних десятилетий, и когда еще 30 лет назад серьезные писатели глубокомысленно обсуждали вопрос о том, не может ли Россия вообще миновать «стадию капитализма»? Тесно связана с двумя отмеченными чертами, слабостью русской государственности и с примитивностью русской социальной структуры, и третья характерная черта нашего революционного процесса, идейная беспомощность и утопичность стремлений, «максимализм» русской интеллигенции. Когда-то я взял эту интеллигенцию под защиту против П. Б. Струве и его «Вех»¹; но я защищал ее только в одном смысле: я защищал ее право

не искать корней в нашем прошлом, где, как уже сказано, заложены лишь корни нашей слабости и нашего бессилия. Неорганичность нашего культурного развития есть неизбежное последствие его запоздалости. Как может быть иначе, когда вся наша новая культурная традиция (с Петра) создана всего лишь *восемью поколениями* наших предшественников и когда эта работа резко и безвозвратно отделена от *бытовой* культуры длинного периода национальной бессознательности: того периода, который у других культурных народов составляет его *доисторическую* эпоху? Стоя на плечах всего лишь восьми поколений, мы могли усвоить культурные приобретения Запада — и усвоили их с гибкостью и тонкостью восприимчивости, которая поражает иностранцев. Мы обогатили эти заимствования и нашими собственными национальными чертами, тоже поражающими иностранцев, как странная прививка утонченности к примитиву. Но мы не могли сделать одного: мы не могли еще выработать что-либо подобное устойчивому западному культурному типу. Эту западную культурную устойчивость мы еще склонны называть «ограниченностью», и мы продолжаем предпочитать ту безграничную свободу славянской натуры, «самой свободной в мире», о которой не то с умилением, не то с сокрушением говорил гениальный наблюдатель Герцен. В других своих произведениях я проследил, как на почве этой незаконченности культурного типа у нас легко прививался западный идеализм в его наиболее крайних и индивидуальных проявлениях и как туго и медленно выростала серьезная государственная мысль. Я пытался проследить также и то, какие успехи сделали в направлении взаимного сближения и постепенного освобождения, с одной стороны, от утопических, с другой — от классовых элементов, два главные течения нашей общественной мысли: течение социалистическое и течение либеральное при первых столкновениях с жизнью*. Мне казалось (в 1904), что дальнейший ход политической борьбы должен привести к устранению целого ряда разногласий, называвших-

* Изложенные в тексте идеи о связи нашего прошлого с настоящим развиты мной подробно как в моих «Очерках по истории русской культуры», так и в изданной в Чикаго и в Париже книге моей «The Russian Crisis» («La crise Russe»), написанной в 1903–1904 гг. и представляющей первую часть трилогии, вторая часть которой не написана и сливается с моей публицистической и парламентской деятельностью (1905–1916), а третья представляется здесь вниманию читателя. Моя полемика с «Вехами» напечатана в сборнике о «Русской интеллигенции», а идея о восьми поколениях подробно развита в двух лекциях, прочитанных осенью 1916 года в университете в Христиании и напечатана в норвежском журнале «Samtiden».

ся принципиальными, и установить возможность совместных действий обоих течений в борьбе с общим врагом, со старым режимом. Полтора десятка лет, прошедшие с тех пор, показали мне, что я оценивал возможность этого сближения слишком оптимистически. С тех пор сформировались действующие ныне политические партии и, вместо сотрудничества, началась непримиримая взаимная борьба. В процессе этой борьбы воскресли многие из утопий, которые я считал похороненными; и политические круги, которые, по моим предположениям, должны были бы бороться с этими утопиями, оказались нечуждыми им идейно и неспособными к стойкому сопротивлению. За это неполное приспособление русских политических партий к условиям и требованиям русской действительности Россия поплатилась неудачей двух своих революций и бесплодной растратой национальных ценностей, особенно дорогих в небогатой такими ценностями стране.

Конечно, несовершенство и незрелость политической мысли, на почве безгосударственности, слабости социальных прослоек не могут явиться единственным объяснением неудач, постигавших до сих пор наше политическое движение. Другим фактором является бессознательность и темнота русской народной массы, которые, собственно, и сделали утопичным применение к нашей действительности даже таких идей, которые являются вполне своевременными, а частью даже и осуществленными среди народов, более подготовленных к непосредственному участию в государственной деятельности. Народные массы — «народная душа» — сами являлись объектом интеллигентских утопий в прошлом — и едва ли перестали им быть в настоящем. Я лично был всегда далек от тех, которые готовы были возвеличивать русский народ: как народ избранный, «народ богоносец», и, преклоняясь перед ним, всячески принижать русскую интеллигенцию и новую русскую культурную традицию. На борьбу с этими тенденциями, в разных их проявлениях, я употребил немало усилий в течение первой половины моей общественной деятельности, когда эти тенденции выступали сильнее и казались более опасными, чем теперь. Но я так же далек и от тех, кто теперь, под влиянием пережитого ужасного опыта и тяжелых переживаний последних месяцев, склонен говорить о «народе-звере». Да, конечно, этот народ, сохранивший мировоззрение иных столетий, чем наше, а в последнее время старого режима умышленно удерживавшийся в темноте и невежестве сторонниками этого режима, — этот народ, действительно, предстал перед наблюдателями его психоза, почти как какая-то другая низшая раса. Интернационалисти-

ческому социализму было легко, на почве культурной розни, провести глубокую, социальную грань и раздуть в яркое пламя социальную вражду народа к «Варягам», «земщины» к «дружине», выражаясь славянофильскими терминами. Но элементы истинного здорового интернационализма при этом оказались не внизу, а наверху, — в культурных слоях, идеях и учреждениях. И рост интернациональной культуры с разрушением этих верхов оказался задержанным — не будем утверждать, что надолго. Как бы то ни было, исправление последствий нашей истории и ошибок переворота идет в том же направлении, как раньше: в направлении восстановления нашего культурного слоя, так безжалостно уничтожавшегося революцией. В этом смысле должны быть пересмотрены все демократические программы, которые, ничего еще не давши народу, хотели «все» создавать «через народ». Неосновательное разочарование в народе после столь же неосновательного преклонения перед ним не должно, конечно, возвращать нас к той системе «недоверия к народу, ограниченного страхом», которое, по меткому определению Гладстона, лежит в основе реакционной политики. Суть правильной политики, приспособленной к действительному уровню массы, должна, пользуясь выражением того же Гладстона, заключаться в «доверии к народу, ограниченном благоразумием». Эта формула, разумеется, не мирится с формулой полного и неограниченного народовластия. Это надо ясно усвоить, определенно сказать себе и сделать отсюда надлежащие политические выводы. В политике не существует абсолютных рецептов, годных для всех времен и при всех обстоятельствах. Пора понять, что и *демократическая* политика не составляет исключения из этого правила. Пора усвоить себе мысль, что и в ее лозунгах не заключается панацей и лекарств от всех болезней.

Еще одна оговорка в пределах того же вопроса о народных массах как политическом факторе. Есть люди, которые готовы были бы искать в физиономии этих масс не только тех изменяющихся черт, в которых запечатлелся ход нашей исторической эволюции, но и того неизменного мистического ядра, которое германские метафизики, так же как и новейшие социологи типа «Gustave Lebon»*, называли «душой народа», l'ame ancestrale**. Наблюдая французскую психику времени войны, Lebon искал в этой «душе предков» объяснения, почему недавняя «упадочная» Франция вдруг превратилась перед лицом врага во Францию

* Густав Лебон.

** Душа предков (фр.).

героическую. Увы, ход и исход русской революции до сих пор не уполномочивает нас искать подобных параллелей. Традиционное сравнение 1613 и 1813 гг. напоминает, правда, о моментах просветления национального сознания и о чрезвычайных народных усилиях, на которые способен был русский народ, когда в его сознании отпечатлевалось представление об опасности, грозившей самому его существованию. Быть может, можно надеяться, что в 1919 году такое просветление перед лицом великой национальной катастрофы примет более культурную форму — чего-либо вроде германского возрождения начала XIX века. Может быть, эта катастрофа послужит толчком, которым закончится доисторическое, подсознательное, так сказать, этнографическое существование народа и начнется исторический период связного самосознания и непрерывной социальной памяти. С очень большим опозданием мы и в этом случае пойдем по пути, давно уже пройденному культурными народами. Но, в ожидании, пока все эти надежды осуществятся, мы должны признать, что самые надежды этого рода служат, так сказать, хронологической вехой. Наша русская *âme ancestrale* продолжает, очевидно, представлять ту плазму, на которой лишь слабо и отрывочно запечатлелись отметки истории. Основным свойством ее еще остается та всеобщая приспособляемость и пластичность, в которой Достоевский признал основное свойство русской души, — идеализировав его, как «всечеловечность». В политическом же применении бесформенность этой души проявляется как тот натуральный, догосударственный «анархизм», то «естественное состояние человека», по выражению старой политической доктрины, которое так ярко и сильно выразил «великий писатель земли русской», отразивший, как в зеркале, на удивление цивилизованному миру, это состояние народной души.

Повторяем, философ истории русской революции не сможет обойти всех этих глубоких корней и нитей, связывающих вторую русскую революцию со всем ходом и результатом русского исторического процесса. Но наша задача гораздо проще. Мы ставим себе целью — возможно точное и подробное фактическое описание совершившегося на наших глазах. Те недостатки описания, которые усмотрит в нем последующий историк, отчасти вознаграждаются чертами, для будущего историка этой революции уже недоступными: элементом личного свидетельства очевидца-наблюдателя и отчасти близкого участника совершившихся событий. Эта более близкая к наблюдаемым явлениям позиция обуславливает, конечно, и иной характер объяснений причин и мотивов. В этом порядке мыслей, прежде всего, мы должны коснуться тех более

детальных объяснений второй русской революции, которые, как они ни важны, сами по себе тоже останутся за пределами настоящего изложения.

Мы разумеем громадное влияние фактора, до сих пор не упомянутого, но имевшего первостепенное *отрицательное* значение. Если общая физиономия русской революции определилась, в значительной степени, нашим прошлым, то ее характер именно как *революции*, как насильственного переворота определился наличием фактора, *противодействовавшего* мирному разрешению конфликтов и внутренних противоречий между старыми *формами* политической жизни и не вмещавшимся более в эти формы *содержанием*. *Инстинкт самосохранения старого режима и его защитников*: таков этот отрицательный фактор.

В упомянутой выше работе 1903–1904 года я объяснил подробно, как этот инстинкт самосохранения с неизбежностью привел к политике все усиливавшихся репрессий и к разделению России на два лагеря: Россию официальную и всю остальную Россию, в которой культурные и народные элементы были одинаково непримиримо настроены по отношению к дореформенной государственности. Не только в эти годы, но уже гораздо раньше, с шестидесятых, с сороковых годов, с конца XVIII столетия, было очевидно, что конфликт старой государственности с новыми требованиями есть лишь вопрос времени. Под углом этого грядущего конфликта складывалось все мировоззрение русской интеллигенции, по крайней мере, шести последних поколений. Немудрено, что это мировоззрение и вышло таким односторонним. Описывать всю эту историю борьбы — значило бы, в сущности, пересказывать всю историю русской культуры двух последних столетий. Естественно, что эта задача не может быть целью настоящего изложения. Мне достаточно сослаться на приведенные уже мои прежние сочинения, которые, в предвидении грядущего конфликта, посылно готовили к его пониманию русское и иностранное общественное мнение.

Может быть, следовало бы здесь остановиться лишь на последней стадии этого конфликта между старой государственностью и новой общественностью, на том последнем десятилетии, когда хронический конфликт перешел в стадию *неискренних уступок* власти общественным течениям. Это десятилетие знаменуется открытым началом политической жизни в России, под знаменем первого политического народного представительства. Германские публицисты придумали уже для этого периода меткое название: эпоха «мнимого конституционализма» (*Scheinkonstitutionalismus*). Если можно в одном слове

формулировать причину того, почему с первыми уступками власти конфликт не прекратился, а принял затяжной характер и в конце концов привел к настоящей катастрофе, — то это объяснение дано в этом слове: *Scheinkonstitutionalismus*. Уступки власти не только потому не могли удовлетворить общества и народа, что они были недостаточны и неполны. Они были неискренни и лживы, и давшая их власть сама ни минуты не смотрела на них, как на уступленные навсегда и окончательно. Я помню момент, когда граф Витте, в ноябре 1905 года, после октябрьского манифеста, пригласил меня для политической беседы. Я сказал ему, что никакое общественное сотрудничество с правительством невозможно до тех пор, пока власть не произнесет открыто слова: конституция. Пусть, говорил я, это будет конституция октроированная, но нужно, чтобы она была дана окончательно. Граф Витте не скрыл от меня, что он не может исполнить этого условия, ибо этого «не хочет царь». Довольно известно, что даже манифест 17 октября император Николай II считал данным «в лихорадке» и никогда не мирился даже с этими более чем скромными уступками. Не хотел, конечно, конституции и гр. Витте, исходя из своих старых славянофильских взглядов; не хотели конституции даже такие общественные деятели, как Дм. Ник. Шипов. Для защиты создавшейся таким образом двусмысленности была создана специальная партия, «Союз 17 октября», и все последующее десятилетие прошло под знаком политического лицемерия. Так как страна не могла этим удовлетвориться, то и самое существование представительных учреждений послужило лишь к расширению базиса для дальнейшей борьбы общественности с защитниками старого порядка. Если опорой для общественности служила при этом оппозиция Государственной Думы, не смолкавшая даже в самые трудные минуты существования этого учреждения, то опорой для власти служил Государственный Совет, принявший в себя все силы и сосредоточивший все усердие сановников старого режима. В результате борьбы этих двух центров в России за десять лет, в сущности, не было вовсе законодательства. Все проекты реформ, даже самых умеренных, застревали под «пробкой» Государственного Совета, превратившегося с годами в настоящее кладбище благих начинаний Государственной Думы. Проходили через законодательные учреждения лишь те меры, которых хотела власть в союзе с правящим сословием. Так прошла аграрная реформа Столыпина; так прошли постыдные для русского имени законы о Финляндии. Гибкость и услужливость октябристов казались

власти уже недостаточными. Курс политики поворачивался все более вправо. «Конституционализм» становился все более призрачным, и на очередь дня становился самый беззащитный «национализм». Старая формула Уварова «православие, самодержавие и народность» была выкопана из архивов, слегка подновлена и серьезно пущена в ход как платформа для выборов и как программа очередного политического курса. Желание императора Николая II — сохранить самодержавие таким, каким оно было «встарь», было принято не только «Союзом русского народа», вызвавшим это заявление царя; оно было принято к исполнению и политическими деятелями, выдававшими себя за государственных мужей и, чем дальше, тем откровеннее, предлагавшими себя наперебой в организаторы государственного переворота. Здесь нет надобности упоминать имен. Имена всем памяты; многие из лиц, их носившие, заплатили трагической кончиной за свою вину перед родиной и перед русским народом. Это — *их* работа, в связи со все усиливавшимся влиянием при дворе случайных людей и проходимцев, создала в стране то состояние полнейшей неуверенности в завтрашнем дне, которое, собственно, и подготовило психологию переворота, изолировав Двор и власть от всех слоев населения и от всех народностей российского государства.

Для самых умных из этих прислужников старого режима было ясно, что при подобной напряженности общего настроения, при таком состоянии неустойчивого равновесия, с трудом поддерживаемого политикой репрессий и опирающегося на искусственно организованное ничтожное меньшинство, Россия не выдержит никакого серьезного внешнего толчка или внутреннего потрясения. Опыт 1905 года, казалось, должен был служить уроком. Тогда с большим трудом удалось ликвидировать последствия неудачной войны и спасти власть от неизбежного ее результата: внутренней революции. Граф Витте был призван специально для выполнения этой миссии. Ошибки первой русской революции, поддержка Европы дали ему возможность выполнить ее блистательно. Но близорукая власть относилась с подозрением к самым лучшим и верным своим защитникам. Граф Витте едва выхлопотал себе право спасти эту власть, оставшись на своем посту до заключения займа во Франции и до возвращения русских войск из Манчжурии.

Далее его услуги были не нужны. Его соперникам поручили ликвидацию уступок, сделанных «в лихорадке», — уступок, которых никогда не могли простить графу Витте. И началась борьба с молодым народным представительством, приведшая к первому

нарушению «мнимой конституции», к изданию избирательного закона 3-го июня 1907 года, окончательно изолировавшему власть от населения и передавшему народное представительство в руки случайных людей и случайных партий². Кое-как сколоченный государственный воз скрипел — до первого толчка.

Можно ли было его предупредить? Сторонники старого режима считали, что можно и нужно — в союзе с Германией. А жизнь повела русскую политику по иному направлению, в сторону держав «согласия», и новорожденное русское представительство сыграло тут известную роль. Так или иначе, при разделении Европы на два лагеря Россия не могла не быть втянута в международные конфликты. Она могла лишь избежать создания конфликтов по собственной вине; но для этого ее балканская политика была недостаточно умна и проницательна. Общая бестолковость управления привела к тому, что, идя более или менее сознательно на возможный конфликт, Россия оказалась к нему неподготовленной в военном смысле. Как во внешней политике, так и в вопросе об усилении военной мощи, Государственная Дума имела известное влияние — и тем связала себя с политическими кругами, патриотически настроенными. Этим она впервые приобрела известную независимость от веяний в «сферах» и, на случай внешнего конфликта, приготовила себя к роли серьезного политического фактора, — серьезного тем более, чем слабее, растерянее и неподготовленнее оказалось бы самое правительство. К Государственной Думе в этом случае неизбежно должна была перейти роль идейного руководства нацией.

И вот она наступила, эта война: наступила в форме громадного мирового конфликта. В ряду факторов, определивших собой *особую физиономию* второй революции, войне 1914–1918 гг. принадлежит, конечно, первое место. Многие и многие из явлений, которые принято считать специфически-революционными, фактически предшествовали революции и созданы именно обстоятельствами военного времени. <...>

VII. Большевики готовятся к решительному бою

В дни, предшествовавшие большевистскому перевороту, идеология этого переворота была дана самим вождем большевизма, Лениным, в его брошюре: «Удержат ли большевики государственную власть?» Такая постановка вопроса объяснялась почти всеобщим тогда убеждением печати разных направлений, что большевики или не решатся взять власть, не имея надежды ее удержать, или

если возьмут, то продержатся лишь самое короткое время. В очень умеренных кругах последний эксперимент находили даже очень желательным, чтобы «навсегда излечить Россию от большевизма». На партию народной свободы с этой точки зрения часто раздавались нарекания, что, препятствуя успеху большевизма, она только затягивает неизбежный революционный процесс и связанную с ним дезорганизацию страны.

Опыт показал, что вся эта легкомысленная самоуверенность была глубоким заблуждением. Большевики взяли власть и удержали ее в течение достаточно продолжительного времени, чтобы нанести не только имущим классам, но и всей стране непоправимые удары и чтобы в неумолимом состязании международных сил потерять безвозвратные возможности. Таким образом, теперь* можно с большей объективностью прислушаться к тому, о чем предупреждал Ленин, взвесить то верное, что было в его предупреждениях, — и что дало большевикам доверие масс, внушило им ту смелость «дерзания», которой не хватало Керенскому, — и успехом их попытки вполне оправдало предварительные расчеты и соображения Ленина. Речь идет, конечно, не об успехе осуществления социальной республики, а о политической победе партийной группы, прикрывшейся этим флагом.

Ленин берет за исходную точку заявление «Новой жизни» в номере от 23 сентября**. «Надо ли доказывать, что пролетариат, 1) изолированный не только от остальных классов страны, но и 2) от действительных живых сил буржуазии, не сможет ни 3) технически овладеть государственным аппаратом и 4) привести его в движение, в 5) исключительно трудной обстановке, ни 6) политически неспособен будет противостоять всему тому напору вражеских сил, который сметет не только диктатуру пролетариата, но и в придачу всю революцию?» Один за другим Ленин опровергает все шесть (отмеченных у нас цифрами) пунктов этого утверждения.

Кончено, пролетариат «изолирован» от буржуазии, потому что он с нею борется. Но в России меньше чем где-либо он изолирован от мелкой буржуазии. Исполнительные комитеты крестьянских депутатов на петроградском совещании высказались от 23-х губерний и 4-х армий против коалиции с буржуазией в прави-

* Эти строки писаны в начале 1918 года.

** Брошюра написана в последнюю неделю сентября 1917 г. Ленин сам напоминает, что высказанные в ней мысли он развивал в России со дня своего приезда, с 4-го апреля.

тельство, тогда как только 3 губернии и две армии высказались за коалицию без к.-д. и только 4 промышленных и богатых губернии за коалицию без ограничений. Далее, и национальные группы на демократическом совещании дали 40 голосов против 15 противников коалиции. Отсюда Ленин заключает: «Национальный и аграрный вопросы — это коренные вопросы для мелкобуржуазных масс населения в России в настоящее время: и по обоим вопросам пролетариат не “изолирован” на редкость. Он имеет за собой большинство народа... Он один способен вести решительную, действительно “революционно-демократическую” политику по обоим вопросам», а именно провести «немедленные и революционные меры против помещиков, немедленное восстановление полной свободы для Финляндии, Украины, Белоруссии, для мусульман и т. д.». «А вопрос о мире, этот кардинальный вопрос всей современной жизни?» «Пролетариат выступает здесь, поистине, как представитель всех наций... ибо только пролетариат, достигший власти, сразу предложит справедливый мир всем воюющим народам, только пролетариат пойдет на действительно революционные меры (опубликование тайных договоров), чтобы достигнуть, как можно скорее, как можно более справедливого мира». Итак, «это условие для удержания власти большевиками есть налицо».

Далее, неверно, что пролетариат «изолирован от живых сил демократии». Кадеты, Брешковская, Плеханов, Керенский и К⁰ — это «мертвые силы», «живые силы», «связанные с массами», — это левое крыло эсеров и меньшевиков, и как раз его усиление после «июльской контрреволюции» есть «один из вернейших объективных признаков того, что пролетариат не изолирован». «Часть масс, идущих... за меньшевиками и эсерами поддержит чисто большевистское правительство».

Что пролетариат «не сможет технически овладеть государственным аппаратом», армией, полицией и чиновничеством, это, пожалуй, верно в том смысле, что тут указана «одна из самых серьезных, самых трудных задач, стоящих перед победоносным пролетариатом». Но ведь «Маркс учил на основании опыта Парижской коммуны», что пролетариат должен не просто овладеть государственной машиной, а разбить ее и заменить новой. «Эта государственная машина была создана Парижской коммуной, и того же типа государственным аппаратом являются русские советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Это их главный *raison d'être**, право на существование. Советы как

* Довод.

«новый государственный аппарат» неоценимы, ибо 1) они дают вооруженную силу рабочих и крестьян, тесно связанную с массами; 2) связь эта легко доступна проверке и возобновлению; 3) именно потому это — аппарат более демократический, чуждый бюрократизма; 4) он «дает связь с различными профессиями, облегчая тем различнейшие реформы самого глубокого характера»; 5) он дает «форму организации авангарда» угнетенных классов, который «может поднимать за собою всю гигантскую массу» и 6) он «дает возможность *соединить выгоды парламентаризма с выгодами непосредственной и прямой демократии, то есть соединить* в лице выборных представителей народа и законодательную функцию, и исполнение законов»: «шаг вперед, который имеет всемирно-историческое значение». «Если бы народное творчество революционных классов не создало советов, то пролетарская революция в России была бы делом безнадежным, ибо со старым аппаратом пролетариат, несомненно, удержать власти не мог бы». «Эсеровские и меньшевистские вожди протитуировали советы, сводили их на роль говорилен, приписка соглашательской политики... Развернуть полностью свои задатки и способности советы могут, только взяв всю государственную власть».

Какая цель этого? Ленин отвечает: «Государство есть орган господства класса». Если это есть господство «пролетариата», то пролетариат должен взять в свои руки весь «рабочий контроль» над производством и распределением: не «государственный контроль», как соглашались кадеты и меньшевики; в их устах это просто буржуазно-реформистская фраза, — а именно «всемирный рабочий контроль» как аппарат «социалистической революции». Для этого в современном государстве есть, «кроме угнетательного аппарата армии, полиции и чиновничества, аппарат *учетно-регистрационный*. Этого аппарата разбивать нельзя и не надо; его надо вырвать из подчинения капиталистам, от него надо отрезать, отрубить капиталистов с их нитями влияния, его надо подчинить пролетарским советам... опираясь на завоевания, уже осуществленные крупнейшим капитализмом». «Капитализм создал *аппараты учета*, вроде банков, синдикатов, почты, потребительных обществ, союзов служащих. *Без крупных банков социализм был бы неосуществим...* Единый, крупнейший из крупнейших, государственный банк, с его отделениями в каждой волости, при каждой фабрике, — это уже *девять десятых социалистического аппарата*. Низшие служащие, исполняющие фактическую работу счетоводства, контроля, регистрации, учета и счета, вероятно, подчинятся, а с “горстью” высших служащих и капиталистов нужно будет “поступить по строгости”. Этих Тит-Титычей мы знаем поименно: достаточно

взять имена директоров, членов правления, крупных акционеров и т. п. Их несколько сот, самое большее, — тысяч — на всю Россию; к каждому из них пролетарское государство... может приставить и по десятку, и по сотне контролеров. Не в конфискации имущества капиталистов будет гвоздь дела: в конфискации нет элемента организации, учета, правильного распределения. Конфискацию мы легко заменим взысканием *справедливого* налога (хотя бы в «шингаревских» ставках)».

Сможет ли пролетариат «привести в движение» новый государственный аппарат? Для этого есть средство «посильнее законов конвента и его гильотины». «Гильотина только сламывала активное сопротивление: нам этого мало:...нам надо сломить и пассивное, более вредное сопротивление...». «Недостаточно “убрать вон” капиталистов; надо поставить их на государственную службу». Это сделает хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность. «Кто не работает, тот не должен есть». «Советы введут рабочую книжку для богатых». «Особенно упорных придется наказывать конфискацией всего имущества и тюрьмой».

Но это еще не все. Государственный аппарат старой России «приводили в движение» 130 000 помещиков. Неужели не смогут управлять Россией 240 000 членов партии большевиков, представляющие не менее 1 миллиона взрослого населения? Мы можем «удесятерить этот аппарат», привлеки *бедноту* «к повседневной работе управления государством». Сумеют ли они? Да, если им придется проводить революционные меры, как распределение жилых помещений в интересах бедноты (известное впоследствии «уплотнение» квартир), распределение продуктов продовольствия, одежды, обуви в городе, земли в деревне... «Разумеется, неизбежны ошибки, но... разве может быть иной путь к обучению народа управлять самим собой, как не путь практики?» «Самое главное — внушить угнетенным и трудящимся доверие в свои силы, показать им на практике, что они *могут* и должны взяться сами за правильное, строжайшее, упорядоченное, организованное распределение хлеба, всякой пищи, молока, квартир и т. д. в интересах бедноты».

Пятый аргумент: большевики не удержат положения, ибо «обстановка сложная»... но когда же она не бывает сложна во время настоящих революций? «Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная классовая борьба и гражданская война. Ни одна великая революция не обходилась без гражданской войны».

Шестой аргумент и последний: победа пролетариата вызовет напор враждебных сил, который сметет и пролетариат, и всю революцию. Ленин отвечает: «Не запугаете». «Видели мы эти враж-

дебные силы и этот напор в корниловщине». Это не гражданская война будет, а безнадежнейший бунт кучки корниловцев, «который может довести народ до исступления» и «спровоцировать его на повторение в широких масштабах того, что было в Выборге»... «А силу сопротивления пролетариата и беднейших крестьян мы еще не видели... Только тогда, когда десятки миллионов людей, раздавленных нуждой и капиталистическим рабством, увидят на опыте, почувствуют, что власть в государстве досталась угнетенным классам, — только тогда проявится то, что Энгельс называет “скрытым социализмом”: на каждые десять тысяч открытых поднимется по миллиону новых борцов, доселе политически спавших». «Республики капиталистов с помещиками голодный не может отличить от монархии», и народом овладевает апатия, равнодушие. «А вот когда последний чернорабочий, либо безработный, каждая кухарка, всякий разоренный крестьянин увидит — не из газет, а собственными глазами, — что пролетарская власть не раболепствует перед богатством, а помогает бедноте... что она берет лишние продукты у тунеядцев и помогает голодным, что она вселяет принудительно бесприютных в квартиры богачей, что она заставляет богатых платить за молоко, но не дает им ни одной капли молока, пока не снабжены дети бедных, что земля переходит к трудящимся, фабрики и банки под контроль рабочих, что за укрывательство богатства ждет миллионеров немедленная и серьезная кара, — вот когда увидит это и почувствует это, тогда никакие силы капиталистов и кулаков... не победят народной революции, а напротив, она победит весь мир, ибо во всех странах зреет социалистический переворот».

Последний утопический припев, конечно, не лишает всех этих рассуждений весьма реалистической подкладки. Это, разумеется, не социализм. Но это — демагогия, и весьма действенная, особенно при слабости и бесформенности русских классовых надстроек и при податливости неподготовленной массы на всякие эксперименты. Впредь до разочарования в последствиях этих экспериментов, расчет Ленина на массы совершенно правилен. А после этого? Но в промежутке ведь будет создан «новый государственный аппарат». Хотя Ленин и предлагает переименовать свою партию в «коммунистическую», но в федерирование коммун снизу он плохо верит. В социализме он скорее сенсимонист, чем фурьерист, и анархические аргументы ему совершенно чужды. Он централист и государственник — и больше всего рассчитывает на меры прямого государственного насилия. Возражая «реформисту» Базарову, он говорит: «Государство, милые люди, есть понятие классовое. Государство есть орган или *машина насилия одного*

класса над другим. Пока оно есть машина для насилия буржуазии над пролетариатом, до тех пор пролетарский лозунг может быть лишь один: разрушение этого государства. *А когда государство будет пролетарским, когда оно будет машиной насилия пролетариата над буржуазией,* тогда мы вполне и безусловно за твердую власть и за централизм». И тогда, во имя интересов пролетариата и бедноты, новый государственный аппарат насилия сумеет дисциплинировать и подтянуть и саму бедноту.

В «послесловии» к брошюре Ленин очень кстати объясняет, почему в июле и раньше большевики не хотели стать властью и почему в октябре они вовсе не собираются следовать «тупоумному» совету «Новой жизни» — остаться «непобедимыми, занимая оборонительную позицию в “гражданской войне” и не принимая на себя наступательной инициативы». Ответ Ленина мог служить ответом также и тем, кто находит, что лучше было пустить большевиков к власти раньше, когда они были менее организованы и не имели еще на своей стороне масс. Тогда, отвечает Ленин, мы и не пошли бы на этот эксперимент. «Если нет у революционной партии большинства в передовых отрядах революционных классов и в стране, то не может быть речи о восстании. Кроме того, для него нужно: 1) нарастание революции в общенациональном масштабе; 2) полный моральный и политический крах старого — например, “коалиционного” правительства; 3) большие колебания в лагере всех промежуточных элементов, то есть тех, кто не вполне за правительство, хотя вчера вполне за него». Наблюдая за этими признаками, большевики 3–5 июля сознательно «удержали гражданскую войну в пределах начатка», вовсе «не задаваясь целью восстания». «Лишь гораздо позднее, чем в июле 1917 г., большевики получили большинство в столичных советах и в стране». Именно после 3–5 июля, именно в связи с разоблачениями господ Церетели их июльской политикой, именно в связи с тем, что массы увидели в большевиках своих передовых борцов, а в социал-блоккистах — изменников начинается развал эсеров и меньшевиков.

Этот развал еще до корниловщины вполне доказан выборами 20 августа в Питере, давшими победу большевикам и разгром «социал-блоккистов» (процент голосов за большевиков возрос с 20% до 33%, а абсолютное число голосов за них уменьшилось всего на 10%; процент голосов всех «средних» уменьшился с 58% до 44%, а абсолютное число голосов их уменьшилось на 60%).

Развал эсеров и меньшевиков после июльских дней и до корниловских — доказан также ростом «левого» крыла в обеих партиях, достигшего почти 40%. Таким образом, теперь, после того как «пролетарская партия выиграла гигантски», теперь нужно дать

ей иной совет, чем дает «Новая жизнь»: «не отходи от кипящих масс к “Молчалиным демократии”» и «если восставать, то *переходи в наступление*, пока силы врага разрознены». «Захватывай врага врасплох» — так говорит сам Маркс, цитируя слова «величайшего мастера революционной тактики, Дантона: смелость, смелость и еще раз смелость». «Ни одного дня, ни одного лишнего часа не потерпят правительства Керенского рабочие и солдаты, знающие, что советское правительство дает немедленное предложение справедливого мира всем воюющим, а следовательно, даст, по всей вероятности, немедленное перемирие и скорый мир. Ни одного дня, ни одного лишнего часа не потерпят солдаты нашей крестьянской армии, чтобы оставалось, вопреки воле советов, правительство Керенского, военными мерами усмиряющее крестьянское восстание».

«Если же в объективных условиях момента коренится неизбежность — или хотя бы только вероятность гражданской войны, тогда как можно ставить во главе угла съезд советов или Учредительное собрание?.. Что же, голодный согласится ждать два месяца?.. Или история русской революции, шедшая с 27 февраля по 30 сентября необыкновенно бурно и темпом неслыханно быстрым, пойдет с 1-го октября по 29 октября (день открытия Учредительного собрания) темпом архиспокойным, мирным, легально-уравновешенным» и даст возможность «во главу угла тактики класть мирные конституционно-легальные, юридически и парламентски “простые” вещи, вроде... Учредительного собрания? Но ведь это было бы просто смехотворно, господа, ведь это же сплошная издевка и над марксизмом, и над всякой логикой вообще».

Логика событий была, несомненно, на стороне Ленина. «Ясно видя, осязая, чувствуя наличность обстановки гражданской войны», он дал сигнал. Называя только что сформированную коалицию «правительством гражданской войны», Троцкий, очевидно, разумел именно это: не то, что коалиция начнет гражданскую войну сама, а то, что при этой коалиции «объективные условия момента» сложились в смысле «неизбежности» гражданской войны с несравненно большими шансами на победу «пролетариата», чем это было 3–5 июля.

Брошюра Ленина датирована 1-го октября, и в ней не напрасно подчеркнуто, что благоприятные условия для победоносного выступления большевиков сложились еще до «корниловских дней». Мы знаем, что, действительно, уже 29 августа предполагалось вооруженное восстание большевиков. Его на этот раз предупредил Корнилов, пославши, согласно желанию правительства и собственным планам, войска, которые должны были вступить в Петроград в день, назначенный для большевистского бунта.

Большевики имели, конечно, все основания думать, что Корнилов их не пощадит и что при изменении правительственного курса, неизбежном в случае его победы, им будет трудно продолжать свою деятельность. И они предпочли уклониться от направленного на них удара, отменив назначенное выступление и поставив тем Корнилова в невыгодное положение нападающего не на большевиков, а на само Временное правительство. Это было очень умно и указывает на очень умелое руководство. Во всяком случае, большевики не отменили, а только отсрочили осуществление своего плана. Как только корниловское движение было подавлено и открылся вместе с тем длительный правительственный кризис, они принялись за серьезную подготовку к решительному бою. К дням наибольшей слабости власти относится документ, который бросает яркий свет на закулисную сторону этой подготовки. Так же как в дни, предшествовавшие 3–6 июля, дело идет о солидной германской помощи деньгами и оружием.

Мы не знаем, на какое употребление Ленин получил уже 29 августа (12 сентября) по телеграмме представителя Diskonto-Gesellschaft, некоему г. Фарзену в Кронштадте 207 000 марок через указанных Фарзенем лиц в Стокгольме. Но 8 (21-го) сентября по специальной телеграмме председателя рейнско-вестфальского угольно-промышленного синдиката Кирдофа, — то есть по особому распоряжению из главного источника, откуда шли германские субсидии, контора банкирского дома В. Варбург открыла новый текущий счет: «для предприятия товарища Троцкого». Какой-то адвокат (разведка предполагает, что это был известный активист Ионас Кастрен) приобретает на эти деньги оружие, а не менее известный посредник большевиков в Стокгольме, Фюрстенберг-Ганецкий, заблаговременно сносится с «товарищем» в Хапаранде, чтобы подготовить доставку этого оружия и «требуемой товарищем Троцким» суммы в Россию. Через 11 дней, 19-го сентября (2 октября) Фюрстенберг уже сообщает из Стокгольма в Хапаранду Антонову (вероятно, лицо, тождественное с будущим главнокомандующим большевистскими войсками в походе против Ростова), что «поручение товарища Троцкого исполнено: со счетов синдиката и министерства (вероятно, Министерства иностранных дел в Берлине) 400 000 крон сняты и переданы товарищу Сене (Суменсен), который одновременно посетит вас (Антонова) и вручит вам упомянутую сумму»*.

* Данные эти взяты из документов, собранных, вероятно, русской разведкой и иностранными разведками и приобретенных американцем Сиссоном в конце 1917 года. Тогда же эти документы были пересланы в Новочеркасск,

Очевидно, этой серьезной подготовкой объясняется и то отношение, в которое большевики в это время встали к правительству «гражданской войны», как Троцкий уже заранее называл правительство третьей коалиции, и ко всем тем «социалистам», которые содействовали созданию этой коалиции и Совета республики. Надо было для успеха предстоящего выступления охранить абсолютную чистоту и ясность положения, при котором все социалисты, кроме «левого крыла» Совета рабочих и солдатских депутатов, окончательно дискредитировались в рабочей и солдатской среде Петрограда как «изменники», не желающие дать народу немедленного хлеба и мира. Мы видели начало этой кампании в резолюциях Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов во время переговоров о коалиции. Нам остается проследить теперь, как та же кампания развивалась в течение октября, параллельно с окончательными приготовлениями к инсценировке на улицах столицы «предприятия товарища Троцкого».

<...>

где я впервые с ними познакомился. В известной брошюре Сиссона «The Bolshevist Conspiracy» эта серия документов напечатана мелким шрифтом, в приложении. Более сенсационными, очевидно, считались тогда документы, переданные американцем в подлинниках или фотографических снимках и относившиеся к сотрудничеству большевиков с германскими офицерами уже после их победы. Но уже в период собирания этих последних документов пошли слухи о подделке их лицами, продававшими документы Сиссону. К брошюре Сиссона приложено специальное расследование особой комиссии американских ученых, которое опровергло обвинение в подделке и признало документы подлинными. Но, конечно, это не есть последняя инстанция. Основательность сомнений была признана союзными правительствами, и на документы перестали ссылаться. Уверенность в подложности их широко распространилась. Однако же и этот вывод был бы чересчур огулен. История собирания документов в большевистских учреждениях для Сиссона рассказана в «Последних новостях» г. Е. П. Семеновым (Коганом). Из другого источника я также имел случай узнать, что по крайней мере некоторые из собранных ими документов — подлинные. Весьма возможно, что агенты Семенова, польстившись на деньги, перешли от собирания документов к их подделке на советских бланках. Точного критерия я до сих пор не имею. Но, документы, использованные в тексте, повторяю, относятся совсем к другой категории, и происхождение их иное: как я полагаю, их действительно собрала иностранная и русская разведка³.